

...Юноша,  
спящий  
ногами

в заливе;  
косо, штрихами, идущий  
над сопкой туман.

...Такое ощущение, что с персонажами Гандлевского уже встречался. Узнаваемый в социальном плане тип: филфак, бродяжничество

в молодости с экспедициями по дикинвинным уголкам (Чукотка, Закавказье, Памир и т. п.), сторожки, байки, пересыпаемые звучными топонимами, шутки с филологическим уклоном, застольное чтение стихов.

И глоток алкоголя, как роза, Разворачивается в груди.

...Дело в том, что поэт-то хороший. Что нечасто.

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ: *Воз. Моеква. - 1996. - 13 апр. - с. 5.*

# «Если к жизни просто душно относиться...»



— «Цыганскому зуду покорны,  
Набьем барахлом чемодан.  
Однажды сойдем на платформы  
Чужих оглушительных стран».

Стихотворение 1973 года. Если я правильно понял, мысли об отъезде были у вас уже тогда. Но вы не уехали в отличие от некоторых ваших друзей. Тема отъезда...

— Это была навязчивая идея целого круга людей, и нелзя было не рассматривать ее и не пробовать ее на вкус. Я не думаю, что я закономерно не уехал, просто так жизнь сложилась. Точно так же, как не думаю, что многие из уехавших людей претворяли в жизнь какой-то серьезный план. Я просто даже наверняка знаю: часто эти решения предпринимались за столом, неожиданно, кто-то кого-то брал «на слабо», а потом оказывалось, что человек уже в этом отъездном механизме и самолюбие уже не позволяет ему отказаться от своих намерений. Точно так же и оставаться — редко когда было принципом и убеждением: я живу только здесь... Так складывалась жизнь.

— То есть за столом, при вас решалось, уезжать человеку или оставаться?

— Да. Ровно так и было. Вот в случае ближайшего товарища: все сидели за столом, во хмелю он сказал, что больше жить здесь не может. И какой-то случайный собеседник говорил ему, что знает контору, устраивающую фиктивные вызовы. Через месяц оказывалось, что делу дан ход, через год он уезжал. Живет там двадцать пять лет, и жизнь сложилась совершенно другим образом.

— Значит, Сергей Маркович, могло получиться, что и вы могли там оказаться? Вы человек случая? Доля случайности в вашем характере, судьбе?

— Я думаю, она очень велика. Может, то, что я называю случайностью, — это непонятная какая-то закономерность, но до какой-то поры, чтобы быть добросовестным, мне приходится все-таки объяснять это случайности.

— Ваша книга стихов названа «Праздник». Это в каком смысле

«праздник»? Вы не могли бы дать образ, картинку этого праздника?

— Праздник можно трактовать с самых разных точек зрения. Расхожее представление — это веселье. Я же имею в виду праздник как действие, исполненное драматизма. Мне кажется, что качество праздничности очень даже присутствует в жизни. Если к жизни хорошо и просто душно относиться, то чего в ней точно нет, на мой взгляд, в ней нет рутины. Если эту рутину человек сам себе не устраивает... Не считаю, что в жизни есть высшая точка: юность — зенит жизни, зрелость — зенит жизни. Каждая пора жизни имеет свой праздник. Я, например, заинтригован старостью. Мне, не то что не терпится, я подожду, но когда она наступит, дай Бог силы не приуныть, а эту пору смаковать тоже.

— В вашей повести «Трепанация черепа» прочитывается, что у автора

*Воз. Моеква. - 1996. - 13 апр. - с. 5.*

# «Если к жизни просто душно относиться...»

большой опыт рассказывания застольных историй...

— Правильно. Очень много времени в молодости ушло вот на такую застольную болтовню, когда до конца не дослушивают, перебивают, по ассоциации всплывают из памяти какие-то другие анекдоты и более или менее забавные истории. А тут я старался ни в коем случае не писать литературным слогом. Мне казалось, что получается, и я позволял себе писать дальше, если тональность воспроизводила застольную. Именно поэтому повесть такая рваная: одна история перебивается и переливается в другую. И когда уважаемый критик Латынина сказала: «Впрочем, это все не более чем треп». — она это сказала в осуждение, но я как раз и собрался воссоздать эту атмосферу застольного чesания языка.

— Цитата из повести:

*«Раз на одном вернисаже я, тоскуя, бродил мимо бессмысленного и бесчувственного награждения предметов: композиция № 1, композиция № 2 и так далее, и прилично встал перед N-ной композицией. Казенный журнальный столик с пластмассовыми стаканчиками. Один был повален. Из него на полированную столешницу натекла лужица вина или сока. Подошедшие Лена и Варя оказались более простодушны и, хихикая, вывели меня из заблуждения — это был внеэстетический столик и внеэстетические стаканчики; просто следы артистических возлияний».*

Скажите, пожалуйста, в чем разница между упомянутой N-ной композицией и загадочными карточками вашего друга Рубинштейна?

— Мне кажется, искусство от неискусства в первую очередь отличается наличие или отсутствие жесткого авторского замысла, настроения, потому что если есть замысел, то есть и настроение, есть авторская интонация, и тогда возможно общение с искусством. У Рубинштейна, несмотря на всю кажущуюся дробность его письма, очень угадывается настроение, и в лучших его произведениях послевкусие остается таким же, как после традиционного лирического стихотворения. Несмотря на дикинвинность своей манеры, Рубинштейн — лирический поэт. А в том случае, о котором я пишу: да, я обозначал, но сама возможность так обозначать происходит оттого, что очень много произведений не содержит в себе никакого замысла и никакого авторского настроения. Это либо бездарность, либо нахальство, когда зрителя берут нахрапом и на испуг. У Рубинштейна есть такая убедительная теория, что если традиционное искусство — это собственно холст, который заключен в раму, то в новом искусстве задача художника самому стать рамой, обвести собой какую-то часть реальности и обратить на нее внимание. На здоровье. Лишь бы на меня не переваливали обязанность самому стать рамой. В таком случае не нужен и художник.

— Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своими друзьями: Кириковым, Рубинштейном, Приговым?

— Нас свела горбачевская перестройка.

При советской власти было очень много, как оказалось потом, самодостаточных и изолированных кружков. А когда началась перестройка, то так или иначе все эти кружки объединились. Все с двойственным чувством узнали о существовании друг друга. Что, оказывается, пишущих и способных людей не пять-семь, как думали в каждом кружке. ...Это было и приятно, ну понятно почему, как всякое общение, и неприятно, потому что сбивало слеси членам каждого кружка. Что не они одни такие замечательные. Что на всю Москву человек, к примеру, двести с такими же амбициями. Все перезнакомились. Стали составляться уже новые кружки, другие. Но уже не потому, что люди случайно нашли друг друга и держатся за отсутствием других, а добровольно, кому кто нравится. У меня сложилось так, что первый круг, которым я дорожил, перестал существовать, потому что душа этого круга Сопровский погиб, Цветков и Кенжеев эмигрировали. И, надо сказать, такой распад первоначальных кругов, оказывается, был повсеместным, мы не были исключением. Эмиграция прошла каленным железом по всему советскому интеллигентскому общению.

— Мне кажется, тут закономерность. Человек за свою жизнь проходит через несколько дружеских кружков. Дело даже и не в эмиграции...

— Да, может быть. Но отличительное свойство советской жизни в том, что вообще испытания, присущие жизни, она чрезвычайно ужесточила, сделала радикальной.

— Листая цитаты, фразы из ваших стихотворений: «выпьем за призвание весельчака», «диалог резонера с шутом», «маска с двусмысленным



ртом». Вы могли бы объяснить, о каком именно весельчаке идет речь, нарисовать портрет неоднократно упоминаемого шута?

— Речь здесь идет на самом деле не о шутстве, а о борьбе с депрессией или, лучше это назвать грехом уныния. Искусство — один из лучших, известных мне, способов справиться с этим грехом. Я обратил внимание: если попробовать попроше и повеселее на бумаге посмотреть на вещи, то и на самом деле смятение если не проходит вовсе, то входит в берега.

— Есть два мнения. Что через депрессии мы что-то действительно глубоко можем понять, и второе — что уныние загоняет нас в тупик.

— Я думаю, что здесь все зависит от порции этой депрессии в жизни человека. Если депрессия, как прививка, она, безусловно, может быть полезна, может способствовать выпрямлению человека и обретению им сил. Но если депрессия, как паровой каток, то она, конечно, может человека поднять. Но мы сейчас говорим о каком-то гипотетическом человеке. У всех разные силы, разная сопротивляемость, да и разная глубина этой депрессии, так что мы можем говорить сколько угодно, это нас не избавит от необходимости самому бороться.

— А в вашем случае?

— Как видите, я сижу перед вами и, по-видимому, не оставляю впечатления человека, как в воду опущенного или с пербитым хребтом. По-моему, сидим, достаточно бодро разговариваем, значит, я как-то справляюсь со своими депрессиями.

— Вопрос к вам как к человеку «малопишущему»: про Венедикта Ерофеева почему-то не приходит в голову, что мало написал, и про Вампилова почему-то не приходит в голову, что написано мало, а про Олешу почему-то приходит. Почему? А ведь он толще написал, чем те двое... И если на вас посмотреть под этим углом...

— Может, это оттого, что Олеша всю жизнь очень сетовал на свое «малописание»? И он внутренним осознанием своего неудачества заразил читателей. На самом деле неудачество ведь так и устроено: не тот неудачник, кто по фактам неудачник, а тот неудачник, кто считает себя неудачником. И в этом смысле от такого отношения себя к себе и читателю к себе я застрахован. Я благодарен и за те два стихотворения в год, которые пишу.